АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

# ЖГЕЛЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

# ЖГЕЛЬ

РАССКАЗ

ОБЛОЖКА
Н. УШАКОВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ☆ 1927 ☆ ЛЕНИНГРАД

Главлит № 68033. Гиз № 16877 Тираж 7.000 экз.

Тип. Госиздата „Красный Пролетарий". Москва, Пимен., 16.

## I

За болотами с синим маревом, за лесами за дремучими, в комарином царстве—Жгель.

Как мо́рок она, эта Жгель, как пьяный аль похмельный сон. Итти к ней—дороги дальние да топкие; в лесах, что стоят стенами и справа и слева, вековечный мрак и седые мхи. Идет путник да ждет: сейчас в самой дреми будет избушка на курьих ножках, а там и баба-яга. Ан вот лес оборвался, стал стеной, уперся, точно итти дальше не хочет—боится. А прямо перед ним, на неохватной поляне толпой толпятся черные и красные трубы, и густой дым из них валит прямо в небо, и чадно коптит копотью лицо небесное.

Над иными трубами пламя вздымается—так вот богатырской свечей сажени в полторы и стоит, полыхает. Красные кирпичные здания покоями да глаголями протянулись по обезображенным закоптелым полям, вздымаются двумя, а иной раз тремя ярусами. Рядом вот с ними, саженях в ста каких, гляди—расселся широко черный сарай, из крыши дым валит—прямо из щелей. Это горно̀.

А деревушки там и здесь жалкие, подслеповатые, тоже будто закопченные. Глянуть издали,—батюшки, ведь ад! Похоже: и пламень, и дым, и копоть, и шум, и гудок басовитый гудит на каркуновском заводе.

И люди здесь подстать этим сумрачным лесам, этому пламени, дыму и копоти. Такие же сумрачные. Идет иной по дороге—закопченный, волосами зарос по самые глаза, полушубок и шапка рваные,—вот брось на дорогу, никто не возьмет, разве ногой брезгливо пошевелит:

— А-а, жгеляне бросили. Мастеровщина голопузая.

И обругается.

А жгеляне гордятся:

— Наша Жгель всем нос утрет. Мы кто? Мужики? Ни в каком разе. Мы спокон веков мастера. Кто муравлену посуду царю Алексею Михалычу поставлял? Мы. Чьей посудой держатся трактиры в Москве? Нашей. Теперь и сочти, сколь мы сила в своем деле. Ты не гляди, что у меня полушубок в дырах. Мы, жгеляне,—проломны головы. Нам новое не к лицу: пропьем в первом кабаке.

Ну, само собой, не все пьяницы да голяки—и степенного народу, гляди, тоже хватит. Купцов-тысячников и то дюжиной считай: Фомины, Еремины, Гладилины, Сахаровы, Ревуновы... Жгель—вроде дно золотое, потому что жгельская глина

славна исстари, умей только руку протянуть—и бери богатство полными горстями. И берут, и богатеют. Жгельские купцы не только в округе— в Москве гремят. Али вы не слыхали про жгельских купцов?

И первый-то между ними— Мирон Евстигнеич Каркунов.

Вот гляди от дороги вправо—длинные двухъярусные постройки из красного кирпича глаголем протянулись, это—каркуновская фарфоровая фабрика... Эге-ге-ге! Как не быть первым человеком, ежели вот они какие корпуса-то! У иного купца жгельского и фабрика есть, да что в ней толку, ежели на всей фабрике рабочих с сотню не наберется? А у Каркунова на фабрике рабочих до тысячи человек работает, правда, больше бабы, а все-таки тысяча—цифра немалая.

За фабрикой на пригорке, мимо которого прохлыстнулась дорога, кичливо стоит просторный белый каменный дом, с террасой стеклянной,— здесь сам Мирон Евстигнеич живет. Фабрика перед домом внизу, вся, как на ладони. Знают рабочие: подойдет хозяин к окну—ему сразу видать, что делается на фабричном дворе, как горны горят, а глянет он из своего окна в одно фабричное окно, в другое—уже знает, как дела во всей фабрике двигаются. Орлом налетит, ежели неуправка какая,—у него не зазеваешься. Накричит, и всегда: раз! раз! затрещину и мастеру,

и рабочему, и бабе, и мальчонке,—он не поглядит, в каких ты чинах ходишь: проштрафился—получай по заслугам. Чем дело держится? Хозяйским глазом да хозяйской строгостью. Они—главнее всего. Не досмотришь—все может прахом пойти.

Мирон Евстигнеич маху не даст, у него прахом дело не пойдет... Ого-го-го! Не таков Каркунов, чтоб свое упустить.

II

От Сергеева дня до Покрова во всей Жгели переломная неделя: от лета к зиме—смена работ и рабочих, расчеты за старое и новые наймы и сделки.

Еще черти на кулачки не дрались, так темно, а на дворе каркуновской фабрики толпа гудит. Крикливыми галками кричат бабы и девки. Они густо обсели крыльцо конторы, пронзительно ругаются. Их много: точильщицы, уборщицы, мяльщицы—и кто-то из них ужо пойдет с угрюмым лицом отсюда, ненанятая, это все знают,—и каждая теперь думает: не я ли? И уже заранее ненавидит своих счастливых соперниц и заранее готова сбить цену... Только степенные, франтоватые писарихи держатся спокойно и в стороне,—эти знают себе цену.

А мужики сгрудились у белого дома, у террасы. Мужики нанимаются не в конторе, а вот здесь.

И нанимать их будет сам Мирон Евстигнеич. Они стоят угрюмо, смотрят на освещенные окна хозяйского дома, переговариваются вполголоса.

— Ишь, скажи пожалуйста: со вторыми петухами пришли, а он не спит.

— Евстигнеич-то?

— Да.

— Богатым никогда не спится. Они двужильные.

— Палач-то приехал?

— А как же? Без него дело не обойдется. Где ни где он, а к этому дню обязательно прискачет.

— Ну, загремят ныне чьи-то ребрышки.

— Уж не без этого.

— Выпить бы. Есть что ли у тебя?

— На сотку найдется. Пойдем.

— Для храбрости надо.

Утро все растет и растет. Вот внизу, у конторы, бабы закричали пронзительно, заволновались, наседают на крыльцо. А мужики здесь заговорили сумрачно:

— О-о, никак губахтер пришел?

— Он. Ну, теперь и наш, надо быть, скоро.

— Счас кухарка на двор выходила, говорит, что чай пьет.

— Эх, хорошо быть богатым.

— Чш... идет...

Дверь на террасе отворилась, и сквозь стекла видать, мелькнул там кто-то большой и черный.

Невидимый вихрь трепнул толпу—все качнулись, оправились; кто сидел—встали, и все сняли шапки и картузы.

На высоком белом крыльце показался богатырь черный—сам Мирон Евстигнеич. Черный картуз на нем с широким тугим верхом, длинный кафтан староверский—сорокосборка, блестящие сапоги бутылками. Рыжая борода лопатой, из-под козырька широко глядят маленькие, серые, жуликоватые глазки. Широким размахом снял картуз Мирон Евстигнеич и три раза перекрестился на золотую полосу над лесом, откуда вот-вот покажется солнце. И, кланяясь, он привычно встряхивал длинными волосами, подстриженными в кружок. В толпе из угодливости закрестились.

— Здорово, братцы!

Голос у Мирона Евстигнеича звонкий, басовитый.

— Доброго здоровьица, Мирон Евстигнеич.

— Здравствуйте, ваше степенство.

И в голосах—заиск, униженность, козлиные блеющие нотки.

— Эге-ге, да вас многонько собралось ноне,— усмехнулся Мирон Евстигнеич,—куда мне столько? Мне столько не понадобится... Что вы, братцы? Да вы адресом ошиблись. Вам бы надо к Гладилину итти. Он ныне много нанимает.

— Да уж сколько вашей милости понадобится. Уж мы готовы послужить.

— Это я знаю, как вы готовы послужить. На второй-то спас выдали меня с руками-ногами.

— Да ведь это как говорится, против рожна не попрешь. Там Степка Железный Кулак объявился. С ним разя сладишь?

— Так-так. Кто это говорит-то? Никак это ты, Тимофей?

— Нет, это Петрунька Ручкин.

— А-а, Ручкин? Ну, что ж, Ручкин, по-твоему, так-таки и не сладим?

Ручкин шагнул раз, другой, весь осклабился.

— Да где же сладить-то? Ен вон какой. У него кулаки-то ровно гири. Как меня по горбу смазал, так я ровно в яму пал.

— Ишь ты. А глядеть-то, мужик ты неплохой.

— Это уж как ваша милость.

— Так не сладим?

— Где же?.. Ен...

— А ну-ка, братец, иди отсюда к шутам.

Ручкин оторопел.

— Это как же?

— Иди-ка, иди. Нам таких не надо. «Не сладим!» Проводи-ка, его, братцы, чтоб не мешал.

И братцы—их много—угодливо и торопливо берут Ручкина за ворот, за руки, за бока, толкают от крыльца, и минуты нет,—Ручкин уже широко шагает вниз, к корпусам, а оттоль по дороге прочь. Мирон Евстигнеич смеется од-

ними глазами, поглаживает бороду, смотрит в толпу. А толпа гудит виноватыми голосами.

— Ну, как не сладить? Сладим.

— Бог даст, сладим. Мы ему бока намнем.

— Зря это Ручкин-то...

Мирон Евстигнеич милостиво улыбнулся.

— Так сладим?

— Знамо, сладим...

— А ну, добре. Это мы поглядим. Только вот, братцы, как же? Много лишних пришло.

Он посмеивается хитренько, гладит белой рукой рыжую бороду,—все видят: рука у Мирона Евстигнеича вся обросла рыжими волосами.

— Не надо столько,—говорит он громко и, будто жалеючи, вздыхает.

Бормочут мужики виновато:

— Уж сколько вашей милости...

— Ну, что ж, кто из вас у меня работал? Отходи вот сюда.

Толпа колется надвое. Большая часть идет в сторону.

— Эге-ге, да вас много.

— Да как же! Мы испокон веков каркуновские...

Десятка полтора осталось, стоят на месте перед крыльцом.

— А вы откуда?

Мужики гомом-гомонят, выкрикивают: Лужки да Подсосенки—деревушки жгельские.

— Ну, а драться умеете?

— Да как же, ваше степенство, не уметь? Сызмальства деремся.

— А ну, я посмотрю. Вот ты да вот ты, схватитесь-ка, а я погляжу. Кто побьет, того найму.

Два мужика—рослых, бородатых—снимают полушубки, пятнами яркими закраснели рубахи кумачовые. Толпа с гоготом строит круг перед белым крыльцом, мужики надвинули шапки на глаза, натянули голицы, порасправились... И враз петухами один на другого. Гоготом заревела толпа. «Га-га-га, дай ему, дай!» И минуты нет,—у бойцов кровь на бородах, и рубахи клочьями. Пятый, седьмой, десятый раз сходятся и расходятся они. Уже пар и кровь изо рта у того, что пониже. А не сдает: страшна, должно быть, голодная зима без работы. А другой бьет его четко и сильно. Мирон Евстигнеич смотрит на них сверху с крыльца, и борода двигается от удовольствия. Уж видно: большой ломит, у малого кости трещат,—иди, малый в рваной рубахе, на печку домой. Вдруг малый увернулся, изловчился, трахнул большого под самую подложечку, и большой, взмахнув руками, со всего размаху грянул наземь. Взвыла толпа, вскружилась, а глазки Мирон Евстигнеича утонули в улыбке.

— Молодец! Это молодец! Что ж, отходи вон к ним. Да и этого... водой его отлейте, да пусть и он становится на работу. Крепок в кулаке.

Большого на руках тащат в сторону, отливают водой. А счастливчик одевает полушубок и размазывает кровь на лице...

— А теперь вот ты и ты,—говорит Мирон Евстигнеич.

И еще пара становится в бой...

Час и два у террасы идет наем: бьет до полусмерти мужик мужика. Мирон Евстигнеичу стульчик вынесли на крыльцо. Сидит он, посматривает, ряду рядит.

Стоял в толпе мужик, вроде цыгана черный. Показал на него Мирон Евстигнеич.

— Вот ты. Ну-ка, вот с этим схватись.

Черный мужик неторопко снял полушубок, поплевал в кулаки, и, присев, потер их об землю. Встал, еще потер, понюхал и удало так крикнул:

— Эх, кулаки-то. Смертью пахнут.

И, развернувшись, ударил супротивника. Толпа ахнула: супротивник—высоченный мужичонка, пал, как подрезанный. Пал и лежит. Даже Мирон Евстигнеич поднялся удивленный.

— Эге, ты вострый. Теперь вот с этим схватись-ка.

И еще показал на высокого.

Опять разошлись. И с третьего удара—высокий с копыт долой.

Мужики заробели. Жмутся, жмутся, ныряют друг за дружку, чтобы Мирон Евстигнеич их не

поставил против этого дьявола черного. И голоса робкие:

— С ем разя сладишь? Это Ленька Пилюгин, он известный.

— А ну, позвать сюда Палача!—крикнул Мирон Евстигнеич.

Рябой мужик вылез к крыльцу.

— Ну-ка, Микишка, покажи этому, а то он что-то больно храбер.

Микишка с развальцем вышел в круг и стал против черного.

Замерла толпа. Поднялся Мирон Евстигнеич на-цыпочки, ястребом глядит.

Удары сыпятся гулкие, и екает у бойцов в грудях. Глаза у черного выкатились из орбит, страшные. Бьются пять минут, десять. Остервенели оба.

— Будет, будет,—махнул рукой Мирон Евстигнеич.— Ну, молодцы...

И кричит оглушительно:

— Дунька, водку сюда!

Дунька уже тащит прямо в ведре зеленую водку, перегибается. В корзинке хлеб и огурцы малосольные—закуска.

— А ну, братцы-бойцы, подходи.

И белые фарфоровые кружки тянутся к ведру. Мирон Евстигнеич угощает из своих рук черного.

— Да ты чей такой? Я тебя что-то не знаю.

Час спустя пьяная толпа идет к конторе за-

ключить условие и получить задаток. А на конторском крыльце бабы стоят с лицами кривыми от злобы.

— Дьяволы. Обдиралы. Двадцать копеек на день. Где это видано? Хлеба одного на гривенник сожрешь.

А другие тут же плачут:

— Хоть бы какую работенку...

Уж после обеда сам Мирон Евстигнеич идет в контору. Бабы ему в пояс, а кто в ноги прямо, так ковром стелятся.

— Кормилец, и нас возьми.

— Ну, что ж. Сколь вас осталось? Сто пять. Пятиалтынный на день дать можно. Кто хочет—оставайся...

III

Покров в Жгели престольный праздничище: три дня пьянство, четыре опохмелья, неделя вся в тумане пьяном идет. Разочлись, нанялись, порядились—опять дело в устой пошло на полгода на целые. И девки с парнями, по старому обыку, по вековечному, норовят свадьбу подогнать к Покрову. Пословица не мимо молвится: «Придет батюшка Покров, девку покроет».

На Покров последняя копеечка ребром идет. Да не просто идет—еще и в присядку пляшет.

Гляди, обедня не отошла, а пьяных—урево. Федот Пантелеев у самой паперти снял праздничный

новый картуз, поклонился в землю, да так и остался лежать—силов уже нет подняться-то. Бабы засудачили:

— Ишь, нажрался спозаранку. Оттащить его надо, а то сейчас сам выйдет—рассердится.

— Знамо, оттащить. Задавят, матушки мои, недорого возьмут.

— Мужики, а мужики! Возьмите вот товарища.

А мужики уже сами на взводе, берут Федота, волокут, а у Федота ноги раскорякою.

Все каркуновские—у староверской церкви; есть которые и православные здесь тоже, даже татары-сторожа пришли—стоят кучкою в ограде. Раз у Каркунова работаешь, на Покров ходи в староверскую церковь,—закон такой. Химик Карла Карлыч на что уж Лютеру подвержен, а гляди—стоит в обедни с самого начала.

В ограде говорят вполголоса, не курят (боже сохрани!), и только кое-где украдкой мелькнет полбутылка.

Федота оттащили за боковое крыльцо, положили.

Вот и трезвон грянул, заплясал в звонком воздухе: отошла обедня. Народ повалил из церкви, в ограде все задвигалось, двумя стенами стали вдоль дорожки деревянной, что протянулась от церкви до самого крыльца каркуновского белого дома. Вот и сам Мирон Евстигнеич вышел из

церкви. На паперти он повернулся к иконе наддверной и три раза поклонился низко-низко, а уже потом, ступив на первую ступеньку, раскланялся с народом:

— С праздником вас.

И вся толпа гулом дружным:

— И вас также, Мирон Евстигнеич!

— С праздником!

Черные картузы, рваные шапки птицами мелькнули над головами, а бабы—в пояс, в пояс, в пояс, точно камыш на болоте под ветром.

За Мирон Евстигнеичем идет супруга его Матрена Герасимовна, не баба, а тулпёга, глядеть на нее—колом не своротишь. Идут они двое—он на шаг на один впереди, идет, кланяется направо, налево, картуз в руках держит, а она кубышкой за ним, вперевалку, и тоже румяной улыбкой светит на все стороны. И толпой за ними гости—толстые и тонкие, низкие и высокие, мужчины все в староверских кафтанах, женщины в старомодных шубейках атласных, все в платках белых. Здесь вся знать жгельская—фабрикантики, управители, старшина здесь. Фомины, Еремины, Ревуновы, Сахаровы. Есть и дальние—вон козырем идет щупленький человечек с тощенькой бороденкой, дулевский деляга Лексаша Перегудкин, а рядом с ним Григорь Митрич Храпунов—не человек, а столбина каменный. Гостей много, чести много.

Колокола залихватски трезвонят вперебор, словно радуются каркуновскому почету.

От церкви, проводив хозяина, толпа рабочих и работниц идет к фабрике, где в живописной, освобожденной на этот день от посуды, готов покровский обед от хозяина. Сколько? Тысячи две народа—очередями сотни по четыре—обедают у Каркунова в этот день.

И не обед дорог, не стакан водки дорог,—что обед и водка?—честь дорога: в гостях все были у хозяина, у Мирона Евстигнеича.

За первый стол садятся самые почетные. Мирон Евстигнеич сам приходит пригубить рюмку. Он с шуткой, с прибауткой угощает:

— Пей, ребята, в божью славу, в тук да сало, в буйну голову—вам испить, вам и силушки копить.

— А тебе, Евстигнеич, и силушку и богатство.

— Спасет Христос. Пейте на здоровье.

И пьют, и едят, и славят благодетеля. Выходят после из живописной, лица у всех будто лаком покрыты, и уже издали хозяйским окнам кланяются.

А у хозяина в хоромах просторных пир горой прёт. Уже подрумянились все. Румяные сдобные купчихи хохотом хохочут. Вот он, Мирон-то Евстигнеич, прямо с ножом к горлу:

— Дарья Тимофеевна. Заморского-то? Настасья Ивановна! Что ж ты не пригубила?

Покорнейше прошу... У меня чтоб без отказу. Нельзя. Раз в году и выпить не грех... А ты— будет тебе. Э-э, что ты силу-то оставила? Уж пить так до дна пить. Пейте-кушайте, покорнейше прошу.

— Больше невмоготу, Мирон Евстигнеич! Вдосталь.

— Вдосталь? А пуп трещит?

— Не только трещит—лопнет сейчас...

— А ну, я послушаю, трещит ли.

И ухом лезет слушать под хохот всеобщий да пьяный. Как тут откажешься? Известно, балясник.

А за торфяными кучами, на широкой поляне, уже сходится народ—парни, мужики, мальчишки, на побоище на кулачное. Уже мальчишки ярятся, сучат кулаками, орут звонко: «давай, давай, давай!» На это побоище—на покровское—сходится народ из десяти ближних деревень. Тулупы, пиджаки, чапаны, рукавицы, сапоги, лапти, бороды, шапки,—столько напёрло, глазом не окинешь. Ребятишки уже схватились. Деревенских больше, но заводские ловчее и бойче—раз! раз! раз!— гляди, деревенские дрогнули, к лесу подрали. «Давай, давай!» Вот выскочил деревенский, чуть побольше—раз! раз!—остановил заводских.

Схватились, заводские драла... Вот и пареньки ввязались. Задорный, дразнящий шум повис в воздухе. Видать, все затомились.

— Эх, схватиться бы.

— Да чаво ж там? Сказать бы надо.

— Где Палач-то? Пошел бы, сказал.

— Чего народ зря томится?

— Эй, Микишка, сходи, скажи. Народ ждет.

И все—и деревенские и заводские—кричат:

— Сходи, Микиша!

Микиша, вытулив спину, идет к белому дому—сказать хозяину, что народ ждет его,—без хозяина нет обыка зачинать покровские бои.

А мальчишки да пареньки-заводилы носятся лихо. «Давай, давай, давай!»

Меркнет короткий осенний день, вот-вот тусклое солнышко зацепит за дальний лес,—только тогда выходит Мирон Евстигнеич на поляну. Пьяненькие гости идут с ним—здесь и щупленький Перегудкин, и столбина Храпунов, и два брата Фомины, и Сергей Иваныч Сахаров. А баб нет,—непристойно бабам драки смотреть да брань слушать. Каркуновские грудятся вместе. Палач с ними—на целую голову всех выше. Гулом довольным встречают они хозяина. И, чу! яростнее закричали ребята: «Давай, давай, давай!»

— Что ж, начинать бы надо,—сказал Мирон Евстигнеич, раскланиваясь с толпой.

— Вас ждем, ваше степенство.

— Без вас драка не в драку.

— Э, да ныне деревенских невпрогляд.

— Много пришло.

— Грозят, какую-то закуску для нас привели.

— Какую закуску?

— Не сказывают.

— А ну, посмотрим... Что ж, ребята, валите. Цыганок-то новенький здесь что ль? А-а, здесь. Ну, что ж, ты и начни. Погляжу я, какой ты в настоящей драке.

Цыганок обеими руками поправил шапку и решительно пошел к дерущимся парням. Каркуновские повалили толпой за ним. Ага, и деревенщина заметила—гляди, задвигались и стеной пошли навстречу Цыганку. «Давай, давай, давай!» Ревут, как быки. И разом—двумя стенками. Мальчишки прочь, парни прочь в стороны. Мелькнула чья-то красная рубаха. Цыганок ястребом—в самую кучу деревенских, над головами мелькнули кулаки, и посыпались удары, только слышно яростное уханье и глухие звуки—бук-бук бук!.. Мирон Евстигнеич поднялся на кучу торфа, глядит издали, а сам весь ежится, ярится, будто его бьют и он бьет. Вот каркуновские сломили деревенских, и те побежали к лесу. Но вдруг там в посконной рубахе кто-то встал—видать варом варит каркуновских. Гляди, уже куча лежит. Не выдержали каркуновские—деру назад.

Отсюда грянули в стенку остальные бойцы, что стояли с хозяином. Гляди, оба брата Фомины тоже грянули. Только Палач еще остался.

Сшиблись, остановили деревенских, вихрем за-

кружились на месте, и за черными пиджаками пропала на момент посконная рубаха. «Давай, давай!» Толпа сжалась, крутится, только кулаки мелькают над головами и пар стоит,—вдруг стена сломилась, и каркуновские бросились врассыпную... Мирон Евстигнеич в проломе увидел мужика в посконной рубахе—мужик клал каркуновских направо и налево.

Мирон Евстигнеич зубами заскрипел от ярости.

— А-а-а, чей такой? Бейте его! Бей!

А угодливый голос уже гудит ему в ухо:

— Это и есть закуска, которой деревенские хвастались. Это Степка Железный Кулак. Хватовский.

— Бей его!—орет исступленно Мирон Евстигнеич.—Микишка, чего глядишь? Дай ему.

Микишка Палач глянул на хозяина—и по ярости понял: время и ему ввязаться. Он неторопливо снял пиджак и, засучивая рукава, пошел навстречу посконному мужику. И разом кругом замерли. Здесь и там остановились, опустили руки, точно разом у всех погасла ярость. И все только на них—вот Палач идет, вот посконный мужик—Степан Железный Кулак...

— А-а, не выдай, Микиша!—орет Мирон Евстигнеич.

Прямой и твердой поступью грянул Палач на мужика. Вот дошли. Раз... Палач ахнул мужика в плечо. Тот качнулся. Стон пролетел над толпой.

Все сгрудились, окружили кругом. Вдруг Степан тяпнул Палача в грудь, и оба сцепились, зарычали яростно. И вот—все видели—как-то наотмашь, с левши Степан ахнул Палача в висок... Палач нелепо взмахнул сжатыми кулаками, и, точно пласт, грохнул на мерзлую землю. Каркуновские застонали. Мирон Евстигнеич бросился в круг сам, но уже все, в ярости забыли, что надо его пропустить,—круг не разжимался.

— А-а-а!—ревела толпа.

Вдруг рев разом оборвался... И стало тихо. И у всех в испуге разинулись рты. И странное слово мелькнуло:

— Убил!

Круг расступился, и Мирон Евстигнеич увидел: лежит Палач, неловко подвернул под себя ногу, и кровь изо рта у него тянется широкой красной лентой. Деревенские попятились. Посконная рубаха мелькнула среди полушубков и пропала.

## IV

А к утру другого дня уже лежал Никифор Палач в гробу, и медный крест староверский восьмиконечный поблескивал поверх его холстинного савана, поблескивал в тех самых руках, что складывались в могучие кулаки, наминавшие бока и деревенским мужикам, и своим же, каркуновским, рабочим. Кусок ваты лежал у виска, и синие тени тянулись от виска по всему мертвому

лицу. В хибарке набилось баб—не протолчешься, плачут, сморкаются, участливо смотрят на высокую дебелую бабу с заплаканным покрасневшим лицом, на мальца смотрят, что притулился у окошка возле гроба, жалеют.

— Осталась вдова с малым. Куда пойдет?

— Ну, помогнет хозяин. Любимый слуга был. Как же?

— Гляди, помогнет ли. Хозяин-то урядливый—это правда, да скупой больно...

— Ч-ш-ш... никак, сам идет? Так и есть, сам.

— И-и, зол, бабы. Берегись!

Метнулись туда-сюда, которые к печке, которые в сени, а на крыльце уже топают гулко тяжелые ноги. Вошел Мирон Евстигнеич мрачнее ворона, отбил три поклона поясных перед гробом, подошел ближе, глядит в лицо мертвое. А баба, вдова-то новая, как загалдит, как запричитает!

— А милый ты мой Микишенька! На кого ты меня спокинул? Кто теперь меня поить-кормить будет?

Таким голосом—вот и не слушал бы. Обернулся Мирон Евстигнеич, искоса поглядел на бабу.

— Ну, баба, не горюй. Ничего не сделаешь. На роду написано.

И хвать за карман—роется, роется в кошеле, тащит красную десятирублевку.

— На-ка вот на похороны.

Баба кувырком в ноги. И опять вопить:

— Спокинул на кого, лебедик мой? Убили тебя злодеи злодейские!

Мирон Евстигнеич нахмурился, ушли глазки серые под брови.

— Ну, дура. Про чего это ты? Кто убил? Сам убился. Звони больше.

— Да как же мне теперь век жить-тужить?

— Ну, гляди, истужилась в лучинку. Потужишь да забудешь. А это ты выброси из глупой башки, будто убили.

— Мальчонка вот, куда я с ним денусь?

Метнул косой взгляд Мирон Евстигнеич на Яшку хмурого да зеленого, буркнул:

— После праздников в контору придешь—переговорим. А теперь вот мой приказ—ныне же вечером хорони.

— Да как же это? И трех дней не лежал...

— А, говорить с тобой. Сказано, ныне—значит, надо. Поняла? Да гляди, не больно слова-то распускай: «Убили». Кто убил-то?

Растерялась баба, туды-сюды, а Мирон Евстигнеич одно слово:

— Ныне. Я и работников пришлю. Гляди, баба.

И пошел, громыхая лапищами. И через полчаса наскочили мужики, бабы каркуновские, засновали туда-сюда, враз вынос, в церковь—опомниться никто не успел, уже гроб в церковь тащат, уже отпели,—скоропыхом все. Прощаться сам хозяин опять приходил, и пешком за гробом

шел—до кладбища. Пьяным пьяно было во всей Жгели. Так пьяненькой толпой и шли за гробом. Уже в сумерках зарыли гроб в землю. Сам Мирон Евстигнеич перекрестился, сел в пролетку и потек куда-то.

— Куда это он?—гадали в толпе.

— Надо быть, к становому, улаживать.

— Становой уже сам был у него. Все улажено.

— Гляди, на хватовску дорогу повернул.

На улицах везде—песни, крики, и опять за торфяными кучами на поляне орут ребятишки: «давай, давай, давай!». И ежели поминают кто про покойника, поминают восхищенно, но не жалеючи:

— Эх, и жулик был, царство ему небесное!

И еще тишком рассказывают: вчера Мирон-то Евстигнеич всех гостей разогнал.

— Ну,—говорит,—гости дорогие, попили, поели, а теперь домой пожалуйте. Мне не до вас.

И гости турманом от него, хотя приехали по-бывалошному—на три дня.

Через неделю отпраздновали. Опять задымились в Жгели трубы и зашумели горны столбами огненными, опять спозаранку глазасто засветились окна в корпусах, и люди, с прожженными водкой утробами, томились за токарными станками, у горнов, в мяльной, в живописной. И опять за стеклянной перегородкой в углу, в конторе, поглаживая рыжую бороду, сидел сам Мирон Евстигнеич. Сидит, улыбается довольный.

И от хозяйской улыбки довольной будто свет во все стороны. Шепотком говорили:

— Уладил все. И Степку-то хватовского к себе в кучера нанял—на место Палача.

— Да ну-у?

— Ей-богу. Приезжал сам к нему. «Иди, говорит, ко мне служить, а то засужу».

— И пошел?

— А как же? Пойдешь. Кому в каторгу охота?

— Вот. Ждал, чать, тюрьмы, а попал на само перво место.

В сенях конторы маячит Сычиха—Палачева жена—и мальчонка при ней. Хотела с утра итти, как приказал хозяин: «после праздников приходи», да бухгалтер отсоветовал.

— Погоди, баба, поглядим, каков он. Ежели зол—и ходить не стоит, а ежели добрый,—тогда пойдешь.

Перед обедом объяснилось: добрый.

Бухгалтер Сычихе пальцем кивнул — иди, дескать. Баба вытулила спину, будто от горя, ухватила, сына за руку, к стеклянной двери подошла и только через порог,—кувырь прямо головой к резной ножке хозяйского письменного стола. Мирон Евстигнеич погладил бороду, сказал:

— Встань. Я не бог, кланяться-то мне. Чего надо?

— Не дай с голоду, батюшка, умереть сиротам.

— Ну, с голоду. Гляди, изголодалась, тумба. Говори толком.

— Вот мальчонку-то возьми, батюшка.

И толкает Яшку вперед. А Яшка сбычился, уперся, нейдет.

— Э-э, мозгляк какой. Куда его суну?

— А ты, батюшка, не смотри, что мозглявый. Умный он у меня, разумный.

— В отца, поди?—насмешливо пробурчал Мирон Евстигнеич.

— Куда в отца. Лучше, батюшка. Он у меня и цифирь произошел.

— А-а, цифирь? Ну, что ж, поглядим.

И темными глазами насмешливо прямо в лицо мальчугану глянул.

— А загадки можешь отгадывать? Ну-ка, угадай: под крыльцом, крыльцом яристым, кубаристым, лежит каток некатанный; кто покатает, тот и отгадает.

Яшка вдруг улыбнулся во весь рот:

— Это я знаю. Это книжка.

— Ага. Знаешь. Так. Ну, а вот: один заварил, другой налил—сколь ни хлебай, а на любую артель еще станет.

— Опять книжка.

Темные глаза у Мирон Евстигнеича глянули удивленно.

— Ого, да ты, малый, тямкий. Ну, что ж, мать, оставь, поглядим. В контору приспособлю. Толь-

ко уж очень он у тебя тощой. Плохо кормишь что ль?

И, не дав время ответить, крикнул:

— Матвеич, подь-ка сюда.

А бухгалтер уже здесь, у двери.

— Куда бы нам этого мальчонку? Гляди, пригодится.

## V

Вразвалочку, неторопко, как купчиха сытая, идет время в Жгели. По зимам поют выоги над лесами да над полями жгельскими, мечут сугробы. Да где ж? Не затушить горнов бурливых, не загасить труб этих кадил дьяволовых,—гляди, сколь сажи кругом оседает на белейшем снегу по ближним полям и лесам.

А теперь уж и вовсе: Каркунов новые корпуса воздвиг, трубу-то взгромоздил в сто четыре аршина вышиной—вот самое небо подопрет. Еще растолстел, еще раздобрел—гордится, что каркуновский товар теперь в Персию, в Туркестан пошел, спорит с императорскими фарфорами.

— Мы,—говорит,—его если не качеством, так ценой забьем. Мы,—говорит,—покажем ему. Мы, Жгель, дело старое, мы при царе Алексее Михайловиче еще муравлену посуду делали. У нас,—говорит,—опыт. А эти что же? Глину везут с Урала, топливо—с Дону, рабочим—втридорога. А у нас все под рукой. И дома и замужем. Не-ет,

где же. По происшествии времени мы развернемся, а он сгаснет.

И правда, развертывался все шире и шире. Контора теперь—одной конторы сорок семь человек. И Яшка Сычев первый деляга в новой конторе. Ежели Мирону Евстигнеичу ехать куда по делу и подручного верткого взять, он берет Яшку. Слушок ходит: не нахвалится хозяин Яшкой.

— Отец хороший слуга хозяину был, а сын еще лучше.

Гляди, пошутит иной раз Мирон Евстигнеич:

— Жил-был человек Яшка, на нем была серая сермяжка, на затылке пряжка, хороша ли моя сказка?

Где это видано, чтобы такой урядливый хозяин со слугой пошутил? Как надо по-доброму? Строгость нужна, спрос нужен, а не шутка.

Яшка в пиджаке сером, рубашка с отложным воротом и галстук веревкою с помпонами на концах. Причесан Яшка с пробором, кудерьки над висками. И все-то знает Яшка, во все вникает.

— В кого ты, Яшка? Отец-то у тебя дурковатый был.

— Не могу знать, Мирон Евстигнеич. Считаюсь Сычевым, значит, отцовский сын.

— Уж больно ты совчивый, во все дыры нос суешь.

— По делу, Мирон Евстигнеич. Дело развязки требует.

И хоть поворчит иной раз Мирон Евстигнеич, а поручение какое—кого?—Яшку.

И уже величают все Яшку по имени-изотчеству.

— Яков Никифорыч, как жив-здоров?

А Яшке и восемнадцати еще нет.

Будто баламутнее стал Мирон Евстигнеич. От богачества ли? От почета ли? И будто никого на земле выше его. Что захочет—вынь да положь. Как прежде, любит кулачные бои. Угостить любит, и гости теперь к нему в показанные дни трубой валят. Но года, надо быть, свое берут; засеребрилась бородища у него, поредела грива на маковке, и—к старости что ли?—попов полюбил Мирон Евстигнеич. В церкви завел хор уставный,—по солям, крюкам поют, вроде как на Рогожском. Старинку скупает—иконы, книги—и частенько в белом дому под окнами над книгой сидит, что в толстом кожаном переплете.

И к службам подвержен стал—ходит строго, и уже все знают: коли хочешь угодить хозяину—ходи к самому началу, молись истово.

А Жгель была прежняя: и чад над полями, и пьянство в лачугах, и драки по зимам, и нищета кругом нищенская. Что ж, это спокон веков ведется—кто изменит?

Только новые корпуса прибавились, новые горны, и тонкой полоской прохлыстнулась через леса узкоколейка с маленькими тонкопосвистывающими паровозами. С гордостью говорили жге-

ляне, что к Каркунову новые машины поставили. Да, машины новые, но пьянство, нищета—все было старое, спокон веков ведущееся.

Лишь раз случилось чудо, и об этом чуде говорили жгеляне целый год. У Семен Семеныча—конторщика, большого плута—однажды ночью горючими слезами заплакала икона Казанской пресвятой богородицы. Жил Семен Семенович в дальнем краю во Жгели,—домик маленький, ветхий, от папаши достался.

Набежали соседи, узнав про чудо. В самом деле, плачет. Крупные слезы натекают под глазами и потом вниз—на ризу пречистую... Чистым платочком собирал Семен Семенович слезы.

— Гляди, православные, как плачет пречистая.

И весть вихрем по всей Жгели. У двора Семен Семеныча чернели толпы. Бабы плотными стенами. Уж к вечеру и духовенство запело в тесных комнатах. Целую ночь народ со свечами в руках стоял перед Семен Семенычевой избой,—молебен за молебном... А к утру попер народ и из окрестных деревень. Мирон Евстигнеич приказал привести к себе Семен Семеныча.

— Что это у тебя?

— Пречистая заплакала.

— Гм... Да это как же?

— Мне еще бабушка говорила: как несчастье какое, так пречистая плачет загодя. И прежде, случалось, плакала. Как умереть отцу,—плакала.

Мирон Евстигнеич пристально посмотрел на Семен Семеныча и спросил тихонько:

— А ты... Семка, не врешь?

У Семен Семеныча глаза округлели в испуге.

— Что вы, что вы, Мирон Евстигнеич? Да разве я дозволю? Чудо налицо-с.

И днем Мирон Евстигнеич сам припожаловал, чтобы на чудо поглядеть.

Толпы народа стояли на улице перед избой, стояли на дороге. Слышно было в раскрытые окна, как попы густо пели молитвы в избе. Мужчины сняли шапки, когда Мирон Евстигнеич пробирался через толпу. Женщины отмахивали поклоны в пояс. И в толпе шушукались:

— Сам, сам идет.

В избе народу невпроворот, но Мирон Евстигнеича пропустили к самому переднему углу. Там на иконнике — древняя почерневшая уставного письма икона. Да, плачет. Семен Семеныч на платочке чистеньком и слезу подал Мирон Евстигнеичу, только что снял вот, на глазах,—так масляным пятном и расплылась слеза по платку. К самому лицу поднес Мирон Евстигнеич платочек, и пахнуло на него маслом деревянным. Что же, запах благочестивый, значит, все правильно. И приказал Мирон Евстигнеич отслужить молебен. К вечеру этого дня уже во всей Жгели остановились работы. Тысячная толпа

запрудила улицу возле Семен Семенычева дома. Снопами горели свечи перед иконой.

Умильный и встревоженный вернулся перед полночью к себе в белый дом Мирон Евстигнеич.

— Перед несчастьем плачет. Слышь, мать? Как бы не случилось чего.

А Матрена Герасимовна только стонет.

— Знамо, жди несчастья. Ох, бога забыли. Забыли бога!

Ходит Мирон Евстигнеич по залам, женины вздохи слушает, раздумывает: по какому случаю икона плачет? И как теперь быть с народом? После обеда бабы и на работу не вышли: вроде праздник по всей Жгели устроили.

— А там вас Яков спрашивает.

Это горничная. Удивился Мирон Евстигнеич.

— Чего ему надо? Зови-ка.

Вошел Яшка, с приплясом будто в глазах, бесята бегают. Увидел его улыбку Мирон Евстигнеич, нахмурился.

— Что так поздно?

— К вашей милости. По секрету.

— Ну?

Яшка покосился на Матрену Герасимовну. Хозяин понял.

— Иди сюда.

И увел к себе в кабинет.

— Я насчет чуда этого,—заговорил Яшка.

— Ну?

Яшка улыбнулся хитро и сказал громким шопотом:

— Мошенство это—и более ничего.

У Мирон Евстигнеича глаза по колесу стали. И рот открылся—глянул черным пятном из-под усов.

— Что-о-о-о?

— Так точно, мошенство. Гляжу давеча, а у иконы глазки пропилены... я будто прикладываться—и пощупал. Маслица в ямки наливает Семен Семеныч. В рассуждении того, что в народе волнение может быть, когда объявится, я и пришел вам сказать.

Мирон Евстигнеич стал краснее моркови. И поспешно оделся.

— Идем.

А там—все та же толпа. Правда, чуть меньше. Кое-кто и спать легли здесь. Мирон Евстигнеич в дом. Старушки какие-то по углам сидят, черные, вздыхают. Увидали хозяина, поднялись, всполошились.

— Ну-ка, старые, уйдите на минуту.

Те со вздохами поплелись в сени. А Яшка цап рукой за чудотворную. Семен Семеныч вскипел:

— Ты что, дурак?

— Нисколько я не дурак. Вот глядите, Мирон Евстигнеич, вот дырочки прорезаны, а отсюда вот маслице Семен Семеныч пускает.

И правда, на обратной стороне иконы выреза-

ны ямки вроде рюмочек, и в них—маслице. Мирон Евстигнеич побагровел.

Кулаком из-под низу прямо в толстый подбородок долбанул он Семен Семеныча. У того аж все лицо перекосилось, и из горла вскрик вырвался: «Хеп!» Семен Семеныч кубарем в ноги.

— Простите! Согрешил!

И злым шопотом зашипел Мирон Евстигнеич:

— А-а... Что ж теперь делать? Делать-то, негодяй ты этакий? Обман. Всех обманул.

— Я... я все обдумал. Не беспокойтесь... Простите. Я... вознесется на небо.

Толстый Семен Семеныч ужом вился, бормотал будто в бреду, и кровь из разбитых зубов мазала его подбородок.

— Что ты городишь? Кто на небо?

— Икона-с. Народу можно сказать, икона вознеслась на небо...

Яшка прыснул в смехе. Мирон Евстигнеич посмотрел на него искоса, а Яшка сказал лукаво:

— Верно-с, самый лучший способ. Скажем, что вознеслась на небо.

Мирон Евстигнеич пальцем в икону:

— Яшка, бери.

Яшка ухватил с лавки тряпку и снял икону. Повернул ее вверх тормашками и насмешливо сказал:

— Эк, масла-то сколько. Куда вылить?

И вылил в цветочный горшок, что сиротливо

на окне притулился. Семен Семеныч стоял виновато. И на губах улыбка. Мирон Евстигнеич загремел сапогами.

— Ну, хахаль, ты тут вывертывайся. Да смотри. Потом я поговорю с тобой. Пойдем, Яшка.

Яшка спрятал икону под пиджак, и оба вышли.

Благополучно прошли сквозь благоговейную толпу, пошли в темь. Яшка спросил:

— Куда ее теперь?

— На чердаке зароешь у меня.

— Хи-хи-хи. На небо вознеслась.

Вдруг Мирон Евстигнеич схватил Яшку за плечо.

— Посмейся, богохульник. Пикнешь еще, пальцем пришибу. Понял? Мерзавцы. Ты тоже такой, я знаю. Ты на все руки. А-а, что придумал, подлец!

На утро во всей Жгели переполох по случаю нового чуда: икона вознеслась на небо. Все только и говорили об этом. Ночью, когда все спали, она вознеслась.

А еще через неделю, когда все улеглось, Мирон Евстигнеич с глазу на глаз поговорил с Яшкой:

— Ты мне скажи, как догадался.

Яшка засмеялся.

— Очень уж человек Семен Семеныч неблагочестивый. У таких чудес не бывает. Что, думаю, такое? Пошел. Смотрю—льется масло. Ну, я туда—сюда. А под кроватью у Семен Семены-

ча целая четверть с маслом стоит. Я опять к иконе. И догадался.

— Ай да голова.

И после, уже без Яшки, другим этак ворчливо, а вместе и гордо:

— Умен, собака.

## VI

Что же, слезы эти, для кого они фальшивы? Для Яшки-хитреца. Для Мирон Евстигнеича. Во Жгели они только и знали тайну чуда этого, потому что месяц спустя Мирон Евстигнеич услал Семена Семеныча в Москву на службу в амбар, а там приказал прогнать вон. Был слух—запил Семен Семеныч, сбился спанталыку. А Жгель верила вся: чу́до было, богородица плакала, а поплакав, вознеслась на небо. А плакала она перед несчастием.

И что же сказать? Ранней весной было чудо, а в переломе лета грянула весть: война.

И сразу все в крутяге закрутилось.

Под бабий вой—пронзительный и трепетный—пошли сперва запасные со Жгели, а неделю спустя пошли ратники, и во сне не видавшие, что когда-нибудь им придется войну узнать.

Мирон Евстигнеич первые дни ура кричал, на прощанье целовался с солдатами, но уже через месяц-другой увидал, что мобилизации хлещут по делу железными кнутами. Хоть оно там

и три четверти баб на заводе, а для войны баба только помеха, но эту четверть, самую-то нужную—вот ее, гляди, живо в отделку отделали. Степан Железный Кулак в первые же дни ушел. Из конторы—человек десять, и бухгалтера Митрь Иваныча тоже взяли—оказался каким-то чином военным.

— Ой, Яшка, гляди, как бы тебя еще не взяли,—пожалел однажды Мирон Евстигнеич Яшку.

— И возьмут, Мирон Евстигнеич, я уже приготовился. Хоть и один я был у мамаши, а ежели так дело дальше, возьмут.

— А не хочется итти?

— Кому хочется, Мирон Евстигнеич? Глядите, сколько народу пошло, а кто без слез?

Поглаживает бороду Мирон Евстигнеич, хмурый да напористый, сказал сурово:

— Ох, не зря ли войну затеяли?

— Пожалуй, что зря, Мирон Евстигнеич. Жили тихо, мирно.

Мирон Евстигнеич косо посмотрел на Яшку, проворчал:

— Вот нас с тобой не спросили, начинать или нет...

К зиме уже дело объяснилось: все на заводе затрещало и закланялось. Главное, товар остановился. Какая уж там Персия, ежели до нашего Кавказа стало труднее трудного добраться?

С двенадцати горнов перешли на четыре,

а к лету другого года еще два горна потушили и бросили. Этим летом и Яшку Сычева взяли на войну. Прощаясь с ним на стеклянной террасе, где в это утро пили чай, расцеловался Мирон Евстигнеич, прослезился даже.

— За сына родного мне был ты. Смотри, вертайся скорее. Я знаю, ты к кажней бочке гвоздь, везде притулишься. Ну, только наше дело не бросай. Ты здесь мастак.

— Вернусь, Мирон Евстигнеич. Как не вернуться?

И пошел к заводу. Поглядел ему вслед Мирон Евстигнеич—у Яшки новые сапоги поблескивают. Идет паренек и не гнется.

— Вот бы мне сына такого!

Что же, новый народ,—приучай да посматривай. До всего свой глаз нужен. Сколько раз было: потушать горн не во-время, вся посуда и погибла. Какие теперь обжигалы? По прежним временам гнать бы в шею, а теперь молчи, терпи и делай, что выйдет.

Одно только и было утешение Мирону Евстигнеичу: на товарец накинуть копейку, другую. Накинешь, оно и не так гребтится. Да еще, пожалуй: послушать за всенощной и обедней старинное крюковое пенье. Гости—реже стали. Жгельские купцы и фабриканты—те, что помоложе, под метлу захвачены войной. Двое Фоминых служат стрелочниками на железной дороге, кого-то улестили.

Еремин у воинского начальника в писарях. Воинский сам ездит иногда в Жгель на ереминских тройках в гости. Не делом заняты люди. И Мирон Евстигнеич без причала, в томительном ожидании жил эти годы. А драки... Что же драки? Только ребята теперь и дерутся. Как вечер, слышь с поляны крик: «Давай, давай. Бей немца!» Задорный крик, да неуместно именитому миллионеру на ребят дерущихся глядеть. А взрослые—только старики остались да калеки...

Дела во всей Жгели каждый месяц—на убыль. Сколько труб уже стоят, точно мертвые пальцы показывают в небо,—теперь уже ясное, незакопченное. И безлюдье наметилось. Уж не свистели тонко паровозики на жгельской дороге,—тоже ушли на войну и рельсы с собой захватили. И самая насыпь, где они ходили, стала зарастать бурьяном. Тогда уже настоящая тревога пришла и к Мирону Евстигнеичу.

— Что ж это будет? Когда кончится?—допрашивал он попа староверского.

А поп—весь лохматый, волосом по самые глаза зарос—бубнит:

— За грехи. Гляди, за грехи. Кому теперь хорошо?

И шопотом этак:

— Предают нас немцам. Царица-то... был я намедни в городе... Царица-то немка ведь.

А в марте—ровно гром:

— Царя-то сверзли.

Матрена Герасимовна прямо в постель слегла.

— Последние времена, ежели до царя добрались.

Мирон Евстигнеич ходил хмурый.

— Что-нибудь не так, мать. Ежели сами господа-дворяне да князья помогали свергать, значит, дело с царем совсем было швах. Что-нибудь не так.

И вся весна, все лето прошли в томленьях, в неизвестности. Откуда-то пришел приказ: устроить на заводе комитет. За дело взялся было конторщик Похлебкин, забегал, засуетился, но доложили Мирон Евстигнеичу. Мирон Евстигнеич позвал Похлебкина, расспросил, как и в чем и, узнав, что комитет нужен для помощи в управлении фабрикой и для защиты интересов рабочих, сказал Похлебкину раздельно и просто:

— Я тебе такой комитет дам, до новых веников не забудешь!

И комитет завял. Возмущаясь, Мирон Евстигнеич недели две потом рассказывал знакомым фабрикантам, бухгалтерам:

— А, каков прохвост. Управлять заводом. Моим-то заводом. Да что я, или не хозяин в своем деле?

Служащие угодливо подхихикивали, осмеивали Похлебкина.

— Чего вы его не прогоните?

— По отцу только и держу. А ежели бы не отец, я бы ему...

Но к концу лета с фронта поперли в Жгель солдаты. Крикливые, резкие, требовательные, с пьяными страшными глазами. Приходили в контору, развязные, требовали, чтобы их приняли на старые места. Им говорил бухгалтер:

— Местов нет.

Они шумели, грозили. И раз, когда на шум вышел сам Мирон Евстигнеич, низенький солдатишка, бывший точильщик, закричал:

— Сплататоры! Мы вам теперь покажем. Сами от жиру беситесь, а нам местов нет? Вот мы поглядим.

От злости у Мирон Евстигнеича запрыгала борода. Он рявкнул:

— Вон, вон отсюда. Гоните их в три шеи!

Тут зашумели, загалдели все—и даже смирные, просившие покорно «работки». И так в первый раз от века веков стояли они—Мирон Евстигнеич и его бывшие рабочие, стояли лицом к лицу, злые и упрямые. А конторщики и сам бухгалтер Матвеич—правая рука Каркунова—пометались по конторе и вышли во двор, будто бы позвать рабочих, а больше так, «от греха». Мирон Евстигнеич яростно плюнул и первый вышел из конторы, и все видели: он качался, спускаясь с крыльца.

Он заскакал, заметался, созвал заводчиков, и в

его белом доме в этот вечер было сборище и речи:

— Али не мы создавали наши заводы? Али мы теперь не хозяева? С ножом к нашему горлу? Не-ет.

Но чувствовал он: его слушают напуганные люди.

— Не дай бог, что делается на железной дороге,—сказал Фомин,—меня чуть было не убили. Ты, говорят, фабрикант, а сам в стрелочники? Беда!

— Перетерпеть надо,—посоветовал толстый Еремин,—помолчать, пережить.

— Ага, терпеть? Это при своем-то добре терпеть?—закричал Каркунов.—Та-ак. Нет, вижу, с вами каши не сваришь. В случае, ежели что, закрою завод и никаких. Издыхайте, собаки. Я... им... пок-кажу!..

Но дни, недели несли новое в Жгель. Больше народа с фронта, больше криков, требований; Мирон Евстигнеич съездил в город, пробыл с неделю, а вернулся мрачнее мрачного и уже не ходил в контору. Все распоряжения—через Матвеича. Будто хотел спрятаться в белом доме от жизни непонятной и непокойной.

А осенью поздней, этак уже заморозки ударили и снег падал, из уездного города, из Караванска, приехал отряд целый—на тройках, с винтовками—и прямо к Мирон Евстигнеичу.

— На тебя наложена контрибуция. Подавай полмиллиона.

— А-а-а...

Мирон Евстигнеича сразу схватила трясь. Не денег было жалко. Что там деньги? А вот это бессилие страшнее страшного. По прежним временам крикнул бы:

— А-ну, Степка, Микишка, поправьте-ка этим колпаки-то!

И все бы сразу стало ясно.

А теперь: ходят в шапках по всем комнатам, курят, цыркают сквозь зубы на пол, ворошат в комодах, в шкафах. Даже в погреб лазали.

— Тут, гражданин, тысяч на триста, не больше. А ты должен уплатить полмиллиона.

Это начальник-то их—этакий молодой, а лицо зеленое, не иначе из арестантов.

— А где я вам возьму? Мои деньги в банке. Идите да получайте.

— В банке мы без тебя получим. А вот ты здесь еще уплати.

Око за око, зуб за зуб, и этот, испитой-то, и говорит:

— Что же, поедешь с нами в город, там в тюрьме посидишь.

И в самом деле, после обыска вывели перед светом Мирон Евстигнеича из белого дома, посадили в сани, и:

— Прощай, Жгель!

## VII

Этак года через полтора, перед весной, когда в Жгели не только волки, а и люди воем выли от голода, пришел в Жгель старичишка в рваном полушубке, в подшитых валенках, шапчонка рысья, облезлая, с ушами. На седой, всклокоченной бороде у старичишки сосульки замерзли.

И прямо старичишка к каркуновскому белому дому. У дома над белым крыльцом озябший красный флаг висит уныло, и сосновые ветви прибиты к резным столбикам; по дорожке прямо в снегу натыканы молодые сосенки. Но видать по молодому нападавшему снегу: давно в доме не было никого. И правда, поднялся старик на крыльцо, а на парадной двери большущий замок висит вроде жука черного. Старик неторопливо обошел дом, заглядывая в окна. От кухни, навстречу ему выбежала черная собачонка, залаяла. В окне кухни мелькнуло молодое лицо, и только к двери старик,—из двери навстречу вышел, ковыляя на костыле, малый в солдатской шинели. Присмотрелся старик—у малого нет левой ноги.

— Тебе кого, дед?

— Да что в доме-то не живут теперь?

— Не живут. Теперь здесь клуб.

— Кроме тебя, значит, никого?

— Никого. А что? Ты ищешь что ли кого?

Старик не ответил. Опустил голову, подумал.

—Та-ак. Значит, никого?

И повернулся, пошел прочь, вниз, к фабрике, занесенной по окна снегом, молчаливой. Фабричные трубы мертво торчали в небо, и на них прилип снег. Сугробы снега лежали у запертых дверей. Маленькая тропка вилась между корпусами. Старик, поскрипывая валенками, пошел по тропке. На крыльце конторы сидел кто-то закутанный в овчинный нагольный тулуп. Старик подошел к крыльцу, к тулупу. Из тулупа высунулось лицо. Старик присмотрелся и спросил:

— Это ты, Степан?

Тулуп торопливо дернулся, и рукава задвигались быстро, отвернули воротник. Степаново лицо—все такое же рябое, нисколько не постаревшее—глянуло на старика. Вдруг Степан торопливо поднялся.

— Ми... Мирон Евстигнеич!

И оба—старик и Степан—минуту растерянно смотрели один на другого.

— Узнал? Вот и хорошо,—проговорил старик.—В караульщиках служишь? Ну, а мои-то где же? Где Матрена Герасимовна?

И от волнения лицо у старика помертвело, стало желтое, вот упади он сейчас мертвым, ни одна бы черта не изменилась.

— Где Матрена Герасимовна?

Степан смущенно ответил:

— Умерли. Восемь месяцев, как умерли.

Старик опустил голову, смотрел на свои подшитые валенки, похожие на слоновые ноги.

— Завод отобрали. Их выселили. Имущество взяли. Как же? Бедствовали они, беда как. У отца Павла и померли.

Старик стоял внизу, у первой ступени крыльца, молчал, смотрел на свои валенки. А Степан, с крыльца, сверху, говорил:

— На заводе новые хозяева. Комитет. Как же. Николай Похлебкин за главного.

Степан замолчал. Старик все стоял, опустив голову. Потом точно проснулся.

— Так у отца Павла?

Он глянул на Степана. Лицо у него было теперь новое, горячее какое-то, а скулы краснели— и это было страшно: красное лицо в седой бороде. Он повернулся и, сутулясь, пошел прочь, и лез прямо через сугробы, когда вот тропка рядом.

А к вечеру по всей Жгели молнией пронеслась весть:

— Мирон Евстигнеич приехал.

И никто не хотел верить Степану, что Мирон Евстигнеич пришел, а не приехал, пришел вот так, пешком, в подшитых валенках. Вечером к дому отца Павла сходились люди, заглядывали в темные окна, чего-то ждали. Бабы стояли кучками, говорили вполголоса. Сумерки были синие, и по

бирюзовому небу плыла, как золотой тонкий кораблик, молодая луна. Луна плыла низко, и, казалось, задевала за мертвые мрачные трубы, за длинные крыши, занесенные снегом. И черные люди на белом снегу казались маленькими, покинутыми.

— Може, теперь опять завод пустит.

— Где же пустить, ежели теперь он не хозяин?

— Слышь, и ничего-то нет у него. Валенки-то подшиты за-губу. Где это видано, чтобы Мирон Евстигнеич в таких валенках ходил?

— Ну, раз приехал, что-нибудь да будет. Это не спроста.

И Жгель—вся—напряженно ждала, что будет теперь. И за каждым его шагом следила.

— Мирон Евстигнеич панифидку по своей старухе отслужил.

— И-и, постарел. Прямо, можно сказать, хизнул. Борода, бывало, расчесана волосок к волоску, как воротник бобровый, а ныне вроде свалялась.

— Мирон Евстигнеич ходил в контору, а Похлебкин ему сказал: «Если ты, гражданин Каркунов, еще раз придешь, я тебя арестую».

— Мирон Евстигнеич у Панкратьева в гостях был, говорил, что теперь только об душе думает, а не об заводе.

— Мирон Евстигнеич...

И опять тревога капля за каплей в душу каждую.

— Как же теперь? Кто же дело пустит? Говорили эти: «возьмем, пустим». И не пустили. И этот старый-то демон «об душе думаю». А нам как же— помирать?

Поселился Мирон Евстигнеич у отца Павла. Ходил с ним в церковь. Или на базар. Или по лесным дорогам ходил один—идет иной раз, старый и мрачный, как изгнанная и неприкаянная совесть.

А Жгель... В Жгели тишь, как на кладбище. Ни одна труба не дымит. Ни один горн не горит. Кому нужна посуда, ежели есть-то у многих нечего?

Пожалуй, только Похлебкин и храбрился.

— Вот войну с буржуями кончим, тогда и за фабрики примемся.

И Мирон Евстигнеичу про это говорили угодливые люди.

— Собираются пустить.

Мирон Евстигнеич на это мрачно:

— Гляди, пустят. Где же? Не пустят никогда. Чтоб работать, надо любить дело. Бывало, ставишь амбар новый аль стену какую,—сердцем вот как болишь, будто о дите родном. А здесь—кому это надобно об деле сердцем болеть? Дело-то не в войне буржуйской. А между прочим, поглядим.

И словно шипенье чье—вопросы:

— Когда же в обрат-то пойдет? Когда к вам-то дело вернется?

— А вы подите у Похлебкина узнайте.

И пальцем к конторе. А голоса угодливо, раболепно:

— Что нам Похлебкин? Пустое помело. Два года только обещают. А нам-то надо жрать аль нет?

— А вы бы в клуб сходили. Хе-хе. Там бы музыку послушали.

— Музыка. Вот у нас где музыка.

И ладонью себя по животу. И Мирон Евстигнеич, шаркая подшитыми, разбитыми валенками, пойдет прочь. Борода седая задвигается от улыбки от радостной. У баб и мужиков лица покривеют от злобы.

— Тоже идол хороший. И говорить не хочет.

— Идол не идол, а все же бывало-то, как суббота, так иди и получай. А теперь...

Говорят шелестящими, злыми голосами: вспоминают, как бывало-то... на полтину-то... можно было купить целые полпуда ржаной муки.

— Полпуда! А теперь за полпуда целый месяц служи и то не получишь.

Мирон Евстигнеич ходил по Жгели—высокий, со всклокоченной бородой, в черном длинном потертом кафтане староверском, низко надвинув картуз на лоб. А глаза—точно угли, раздуваемые ветром.

Порой возле него останавливались бабы, мужики,—теперь уже независимые,—слушали. А Мирон Евстигнеич только скажет:

— Разе я бы допустил, чтобы мои рабочие так бедствовали?

И пойдет—черный, высокий, как столб, только седая борода болтается на ветру.

Зима надвинулась страшнее страшного. Запели вьюги, занесли Жгель по самые крыши, закрыли все дыри-прорехи, все стало белым, мягким,— только мертво торчали мертвые трубы. А дым, копоть бывалые где? Только из труб избяных тощенькие дымочки ленивые.

Мирон Евстигнеич все ходил и ходил мрачный между корпусами. Подходил к белому дому своему старому. Облетели сосенки, сник и разорвался флаг над парадным крыльцом, так и висит разорванный в ленты. Кто-то высадил все стекла на террасе. В этом году клуб не открывался, даже хромой инвалид исчез куда-то. В конторе заводской три человека—в шубах, валенках и шапках—сидели часа два в день перед толстыми книгами, говорили между собой лениво. А за корпусами—из штабелей—жгеляне безоглядно тащили доски дрова, торф. Забирались через разбитые окна и в самые корпуса—тащили гайки, ремни.

Вечерами, в определенный час, в тулупе нагольном выходил Степан на тропку и медленно брел вокруг корпусов. По ночам никто не ходил воровать, потому что жгеляне боялись степановых крепких кулаков. Воровали только днем, открыто. А днем Степан спал.

Как-то февральской очень лунной ночью Степан услыхал: за лесом звонит колокольчик. Степан остановился, сдвинул с уха шапку, чтобы не мешала слушать. Колокольчик ближе, ближе, и из леса выехала по дороге черная лошадь с черным возом. Лошадь подъехала к заводскому крыльцу. Степан строго спросил:

— Кто едет?

С облучка слез ямщик, весь заиндевевший, сказал:

— Сторож что ли ты? Начальника вам привез нового. Принимай.

И, обернувшись к саням, сказал:

— Ну, Яков Микифорыч, вылезай.

В возу зашевелилось, и кто-то, закутанный в тулуп, вылез, отвернул ворот, сказал:

— Э-э, все мертво. Что ж свету-то нигде нет?

Степан хмуро:

— У нас, поди, два года света нет.

Человек, закутанный в тулуп, стуча тяжелыми сапогами, поднялся на крыльцо. Скрипнул дверью, отворяя.

— Что, заперто здесь?

— Не заперто. Заходи. Да оно все одно, что здесь, что там одинакова сласть—волков морозить. Не топят у нас.

И, понизив голос, Степан сказал:

— Поди-ка, попляши в сапогах-то.

И засмеялся. Ямщик сказал, тоже смеясь:

— Он и дорогой-то ежился. Все спрашивал, скоро ли доедем?

— А чей такой?

— А пес его... Меня по наряду из Синюшкина взял. Ваш чей-то. Сычевым прозывают, Яков Микифорыч.

Степан встрепенулся.

— Яков Сычев?!.

И побежал в дверь.

Через полчаса—на кухне в белом доме топилась плита, а возле нее сидел Яков Сычев и, положив ноги на дверку духовки, грелся, расспрашивал.

Степан неуклюже говорил:

— Умерли. Ушли. Убежали. Только губахтер здесь. И Мирон Евстигнеич.

И подивился Степан: приехал ночью, в мерзлых сапогах, чудной такой... а говорит: «поставлю завод».

Зашумела, загудела Жгель, когда утром прошла весть из избы в избу:

— Рабочих собирают на завод.

Приходили к конторе толпами. Правда, на дверях записка: «С первого числа будет производиться запись».

А глянешь в окна—там и бухгалтер Матвеич на месте, и два конторщика, и сам Яков Сычев, тот прежний Яшка. Только не такой верткий,

и собачьи морщины по сторонам рта, и стрижен по-солдатски.

— Ай да Яков, в тузы полез!

— Это и раньше было видать,—до хороших делов дотяпается.

Стояли долго, переглядывались удивленно. Хотели зайти в контору спросить, правда ли пойдет завод, но, помня строгие каркуновские времена, стеснялись, посылали один другого. Но Сычев сам вышел. С крыльца заговорил:

— Поставим. Поведем. Спасем...

И после, когда расходились, видели: к конторе шел и сам Каркунов.

Что было в конторе,—бухгалтер и конторщики рассказали своим женам, а жены соседкам, и вся Жгель узнала:

— Пришел—и прямо к Сычеву. «Здравствуй, Яков!»—Здравствуйте, Мирон Евстигнеич. Очень рад, что вы пришли. Хотел к вам пойти. Спецы на заводе нам нужны. Не поможете ли нам в деле?»—«Это как же надо понимать?»—«Завод в ход пускаем. Помогайте. Теперь все заводы в Республике решено пустить».—Аж сел Мирон Евстигнеич.—«Это я,—говорит,—хозяин истинный, да пошел помогать вам? Никогда». А Яков ему: «Не хотите помогать,—скатертью дорога».

К весне запыхтело в машинном отделении, и раз утром, без четверти семь, как бывало, затрубил над Жгелью знакомый басовитый гудок. Лен-

той—не очень плотной, не как бывало, пошел народ к заводу. Дня через два, вечером, над крышами здания загорелся и зашумел белый ровный огненный столб. Два с половиной года таких столбов Жгель не видала...

А через месяц, в воскресенье, в ограде староверской церкви хоронили Мирон Евстигнеича. Небольшая толпа собралась у могилы.

Отец Павел и начетчики пели уныло. Старики в черных кафтанах поставили гроб на веревки и стали спускать в могилу. Толпа усиленно закрестилась.

— Готово?

— Готово. Стоит. Вынай веревки.

Слышно было, как зашуршали веревки о гроб.

— Вечная память. Вечная память.

Отец Павел нагнулся, поднял горсть свежевырытой земли и бросил в могилу. Еще нагнулся и опять бросил. И еще. Тогда вся толпа, толкаясь, заспешила, бросая землю горстями в могилу.

Потом заработали лопаты, и комья стали падать на гроб, гулко стукая.

— А-а, человек-то какой был...

— Ждал, ждал, что вернут,—не дождался. Как пустили завод, так сразу и сломился.

— Заговариваться стал. Ходит один и вот говорит, вот говорит, будто спорит с кем.

— Не по нутру было.

— Знамо, не по нутру. Ты гляди, какой власт-

ный был, а тут, гляди, в ничтожность какую произошел. Кому не доведись.

— И поминок-то не будет, говорят.

— Какие поминки?

— Жил, жил и умер...

— И-хи-хи, жисть наша!...

— Гляди, молодые-то никто не пришел. Старые только...

— Куды молодым? Все вон в мяч побежали играть. А которые на огороды.

— И никому невдомек, что хозяин помер. Вот народ пошел!

---

30 коп./р